

**О НЕКОТОРЫХ УСЛОВИЯХ,  
способствующих умножению народного капитала  
Речь И. Бабста, Москва, 1857 г.<sup>1</sup>**

**РАССУЖДЕНИЕ О ГРАЖДАНСКОМ И УГОЛОВНОМ  
ЗАКОНОПОЛОЖЕНИИ,  
сочинение английского юрисконсультанта Иеремии Бентама,  
переведенное Михайлом Михайловым. По высочайшему по-  
велению. Три тома. Спб. 1805 г.**

В последние два года многие писатели приобрели громкую и совершенно заслуженную репутацию. Одно из самых прекрасных имен в этом ряду — г. Бабст. Специалисты давно уже высоко ценили его, как ученого очень основательного. Публика давно уже отличала в журналах его статьи от других статей политико-экономического содержания по живости содержания и достоинствам изложения. Но в те времена большинство читателей еще недостаточно интересовалось этою наукою, не сознавая того чрезвычайно живого отношения, какое могут иметь к нашему быту истины, извлеченные из наблюдения экономических фактов учеными в Западной Европе. Конечно, при большей внимательности легко можно было найти эту связь и тогда, когда она еще не указывалась точным образом, но кто обязан делать догадки? Большинство не хотело утруждать себя этими хлопотами, и, читая, например, книгу г. Бабста о Джоне Ло<sup>2</sup> или статьи покойного В. Милютина (в «Отечественных записках» и «Современнике» 1847—48 г.)<sup>3</sup>, многие из нас хладнокровно останавливались на мысли: все это хорошо, но какое нам дело до спекуляторов времен регентства, до манчестерских ткачей и бирмингамских кузнецов? Сочинения эти читались потому, что написаны были хорошо, и тем кончалось дело. Конечно, теперь каждому из нас легко видеть, как ошибался он тогда, думая, что эти предметы не касаются прямым образом его собственного быта. Но, с другой стороны, надобно сказать, что не совершенно исполняла свою за-

дачу и наука, представляя общие истины и иноземные дела без всяких указаний на их отношения к нашим собственным делам. Как бы то ни было, до последнего времени казалось невозможно ученому, занимающемуся политической экономией, приобрести то горячее сочувствие всего общества, каким награждались, например, труды по русской истории или по истории русской литературы.

Г. Бабст блистательным образом разрешил эту задачу, которая казалась невозможной. Его речь, по поводу которой мы пишем эту статью, была одним из самых громких литературных событий прошедшего года, когда являлось и в науке, и в беллетристике так много произведений, привлекавших к себе общее внимание. Ни одно из них не доставило своему автору больше сочувствия, нежели речь г. Бабста. Отчего же такая разница в успехе этой речи по сравнению с участью политико-экономических статей, до того времени являвшихся у нас? Г. Бабст прямым образом показал применение политико-экономических истин к фактам нашего быта, он первый решился сказать, каким образом относятся условия нашего экономического быта к тому порядку, который признает наука благоприятным для экономической деятельности. Горячее сочувствие публики было ему наградою за это дело: его «Речь» имела успех необыкновенный; его имя стало так же близко к сердцу каждого из нас, как имена самых популярных между нашими историками, беллетристами, поэтами, журналистами, которые до тех пор одни пользовались привилегиею популярности.

При первом появлении «Речи» мы познакомили читателей с ее содержанием посредством обширных выписок. Теперь, пользуясь вторым изданием этой брошюры, которого давно желала публика, мы не имеем надобности ни пересказывать ее содержания, ни прибегать к выпискам, — читатели довольно знакомы с истинами, в ней изложенными, и нам остается только развить некоторые мысли, ею внушаемые.

Надобно сказать, что если прекрасна идея, которой одушевлена речь г. Бабста, если превосходно изложение этой речи, то и предмет речи избран чрезвычайно удачно. Умножение народного капитала — это то же самое, что возвышение народного благосостояния, если понимать слово «капитал» в его истинном смысле, какой и дается ему г. Бабстом<sup>4</sup>. В последнее время много красноречивых голосов в Западной Европе восставало против капитала, и надобно сказать, что все нападения на него справедливы, когда это слово понимается в том узком смысле, какой имеет оно на языке спекуляторов парижской биржи и их друзей между экономистами. Смеясь над меркантилистами, поставлявшими народное богатство в обладании большою массою звонкой монеты, они сами впадают в такую же ошибку, когда, превознося необходимость капитала для экономической деятельности, разу-

меют под словом «капитал» исключительно запас звонкой монеты, кредитных знаков и материальных вещей, которыми торгуют на биржах и которые передаются по купчим крепостям. Фабрики с их машинами, пакгаузы с их товарами, дома с их мебелью, кипы акций и облигаций, груды золота и серебра — все это капитал; но совершенно ошибаются люди, воображающие, что только такого рода капитал нужен для возвышения производительности национального труда и что ему именно должна доставаться значительнейшая часть производимых трудом богатств, потому что будто бы ему именно и исключительно должно приписывать успешность и энергию труда. Ошибка эта имела самые печальные следствия как для науки, развитие которой надолго замедлилось и извратилось узкостью понятий, так и для общественного быта, вдавшегося в гибельную односторонность по вопросу о распределении плодов труда между трудящимся классом и капиталистами и при заботе об умножении национального капитала. Если капитал только деньги и материальные вещи, то, разумеется, надобно признавать справедливым, когда почти все производимые богатства обращаются в пользу капиталистов, а для трудящегося класса представляется только ничтожная часть, не больше того, сколько нужно для скудного поддержания жизни. «Без капитала труд не успешен — успех придается ему капиталом, потому и плоды успешности труда принадлежат не самому труду, а оживляющему его капиталу, говорила эта односторонняя теория. И так как успешность труду придается исключительно содействием материальных капиталов, денег и заменяющего их кредита, машин и проч., продолжает она, то очевидно, что на увеличение этих материальных капиталов и должна быть обращена вся забота, а самый труд, бессильный без них, не заслуживает особенного внимания»<sup>5</sup>. Но дело в том, что тут есть важный недосмотр. Какое бы определение капитала мы ни взяли, все-таки окажется, что кроме материального капитала, существующего в виде зданий, машин и денег или кредитных знаков, существует другой капитал, сливающийся с организмом работника, и что этот капитал, который можно назвать нравственным, гораздо важнее материального. Важнейший национальный капитал есть запас нравственных сил и умственной развитости в народе. Англия богата оттого, что в ней много, Испания бедна оттого, что в ней мало капиталов, говорят экономисты. Так; но это изобилие или недостаток относится ли к одним денежным или вообще материальным запасам? Если два корабля, один с английскими, другой с испанскими пассажирами, разобьются у двух соседних островов, одинаково пустынных и одинаково плодоносных, и пассажиры того и другого корабля одинаково будут выброшены на берег, подобно Робинзону Крузо, не имея ровно ничего при себе или на себе, кроме платья и нескольких складных ножей,

участь того и другого поселения будет ли одинакова? Нет. Посетив через десять лет остров англичан, вы найдете у них удобные и прочные жилища, изобильно снабженные всеми вещами, необходимыми для комфорта; найдете обширные и хорошо возделанные поля с богатыми жатвами; словом, найдете благосостояние и даже избыток. На испанском острове вы не увидите ничего подобного. Его жители представятся вам бедняками, живущими в жалких лачугах, часто голодающими и не имеющими ничего, кроме своих старых плащей, уже обратившихся в лохмотья. Отчего же такая разница? Оттого, что англичане, хотя и выброшены были на берег, подобно испанцам, без всякого запаса денег и других вещественных капиталов, имели в своих привычках и знаниях нравственный капитал, несравненно важнейший, нежели все те громады товаров, тысячи фабрик и паровых машин, которыми владеет их родина. Они имели с собою трудолюбие и бережливость, имели технические знания, наконец, основание всему остальному, они имели развитые головы, с убеждением, что человеку следует жить в довольстве, и крепкою уверенностью в своих силах. Всего этого лишены были испанцы. А в этом нравственном капитале и заключается источник всего материального капитала. Если бы в одну ночь сгорели Лондон, Манчестер и Ливерпуль, со всеми своими казначействами, банками и конторами, доками, флотами и пакгаузами, это был бы тяжелый, но вовсе не смертельный удар для их населения. Через пятнадцать, много двадцать лет на прежних местах стояли бы новые конторы и пакгаузы, заваленные еще большим количеством товаров, и гавани были бы наполнены флотами, многочисленнейшими прежних, с грузами, драгоценнейшими прежних. Но к чему делать предположения, когда есть факты, к чему противопоставлять один другому два народа, когда в истории одного и того же найдутся примеры достаточно ясные? Сто семьдесят лет тому назад удалились из Франции десятки тысяч людей после отмены Нантского эдикта. Сто лет спустя снова удалились из Франции десятки тысяч людей после взятия Бастилии. Вещественных капиталов гугеноты унесли с собою за границу в тысячу раз менее, нежели эмигранты времен революции. То были большею частью простые ремесленники и мастеровые, а эмигранты были богатые землевладельцы, и многие из них считали свои вывезенные богатства миллионами франков. Но через пять лет гугеноты не только сами пользовались довольством в новых своих поселениях, но и удвоили богатства тех стран, в которых поселились; через пять лет эмигранты не только сами нищенствовали, но и были причиною обеднения стран, которые их приняли. Надобно ли говорить, отчего произошла такая разница? Гугеноты, кроме своих технических знаний, имели с собою твердые нравственные правила, неуклонную любовь к законности, привычку к энерги-

ческой деятельности, развитую мыслительную способность. Эмигранты, кроме невежества, вывезли с собою презрение к закону, поклонение грубой силе своего крика и своих шпаг, легкомыслие и неспособность ни к какой серьезной мысли, ни к какому дельному труду. Да, нравственный капитал — источник всех вещественных капиталов, которые без него не могут ни возникнуть, ни сохраниться, тем менее могут возрасти без его возрастания. Часто забывают об этом люди, провозглашающие безграничное уважение к капиталу, и имеют в виду только материальное богатство, когда говорят, что капитал должен владычествовать над экономической деятельностью народа. Нельзя найти довольно сильные выражения для протеста против такого поклонения золотому тельцу. Он ведет к пренебрежению материальным благосостоянием народа ради развития богатства немногих отдельных лиц, к пренебрежению нравственными потребностями народа ради возвышения коммерческих оборотов. Но если понимать под капиталом весь запас как материальных, так и нравственных богатств, приобретенных нацией вследствие предшествовавших ее трудов, то мы, избежав односторонности понятий, предохранимся и от опасности жертвовать участью массы народа ради выгод людей, располагающих материальными капиталами. Тогда, если мы скажем: «необходимо народу всеми средствами заботиться об увеличении своего капитала», — мы не будем уже думать, что эта потребность удовлетворяется, как скоро возрастает богатство богатых людей; если мы скажем: «капитал необходим для успешности народного труда», мы не будем думать, что одни материальные средства капиталиста могут произвести что-нибудь без запаса нравственных сил в его работах.

Испания не дальше от Америки, нежели Англия; почему ж бы какому-нибудь Броуну или Джемсу не завести хлопчатобумажную фабрику в Испании? Ведь и в Испании есть каменный уголь; привоз хлопка в какую-нибудь северо-западную гавань Испании стал бы не дороже привоза в Ливерпуль, а заработная плата в Испании ниже, чем в Англии, да и испанские рынки для хлопчатобумажных изделий ближе были бы тогда к фабрике Джемса. Нет, он все-таки основывает фабрику в Манчестере. Почему же? Из любви к родине? Но материальные капиталы не имеют привязанности к родине; они стремятся туда, где находят более выгодное помещение. Почему же Джемс не находит выгоды фабриковать свои назначенные для Испании ткани в самой Испании, где нашлись бы все материальные удобства для фабрикации? Потому что он не может перенести в Испанию только вещественный капитал, но не найдет в ее населении нравственного материала, содействие которого необходимо для успеха предприятия, не найдет в Испании таких работ-

ников, каких имеет Англия. Джемсу или надобно перевоспитать испанцев, или привезти в Испанию английских работников.

Если мы не станем забывать, что из капиталов, необходимых для успешности национального труда и для развития государственного богатства, нравственные капиталы, заключающиеся в трудолюбии и честности, в расчетливости и благоразумии, в умственной развитости и предприимчивости работающего сословия, гораздо важнее материальных капиталов, не могущих ни возрастая, ни сохраняться без их содействия, что нравственный капитал не только служит источником материального, но и постоянно превосходит его своею ценностью, мы безопасно можем говорить о всемогущей силе капитала, о необходимости его для успехов национального труда, о том, что всевозможная заботливость должна быть обращена на условия, содействующие его возрастанию. Тогда мы не захотим жертвовать обеспеченностью работника для выгод капиталиста или землевладельца. Мы будем помнить, что если манчестерский фабрикант выигрывает тысячи, понижая заработную плату, то Англия теряет на каждую из этих тысяч мильон, чрез ослабление нравственного капитала в его работниках; что если манчестерские работники дойдут чрез материальные лишения и необеспеченность до апатичного состояния души, если потеряют любовь к законности и надежду на законы своей родины, то все богатства Англии исчезнут очень быстро. Важнейший капитал нации — нравственные качества народа.

Г. Бабст всю свою речь подтверждает это понятие. «Все, что содействует народному производству (говорит он), орудия, машины, строения, пути сообщения, почва, сырье, средства для содержания рабочих, деньги, кредитные знаки, нравственные качества народонаселения, его образованность, изобретательность, — все это мы в праве назвать народным капиталом, без которого невозможна ни одна хозяйственная деятельность и для умножения, для усиления которого должны быть употреблены все силы и стремления народа... Чем более надежды<sup>6</sup> у рабочего улучшить благодаря своему труду свое благосостояние, тем производительнее его труд... Для ленивого, для беспечного народа капиталы эти (материальные) — мертвые силы» (стр. 20). Кто так широко и верно понимает капитал, условия его производительности и возрастания, тот имеет полное право, — и только тот вообще имеет право говорить о благотельном его влиянии на труд и благосостояние нации.

О вещественных капиталах твердит каждый экономист; далеко не все помнят, как помнит г. Бабст, о нравственном капитале; потому-то, между прочим, и занял г. Бабст такое почетное место между нашими экономистами. «Стройте железные дороги, пароходы и машины, основывайте банки и промышленные компании и увеличивайте торговлю» — это умеет твердить

каждый; но далеко не каждый понимает, как понимает г. Бабст, что все эти материальные улучшения возможны только с появлением условий, благоприятствующих возрастанию нравственного капитала нации. Об этом важнейшем роде капитала, о котором так часто забывают, мы и будем преимущественно говорить вслед за г. Бабстом.

Сравнивая хозяйственные привычки и нравственные качества различных народов, как они представляются нам в настоящее время, мы бываем до такой степени поражены их чрезвычайным различием, что чрезвычайно любопытен становится вопрос о причинах этой великой разности. Испанец, итальянец, француз, немец и англичанин так резко отличаются друг от друга, что невольно приходит в голову мысль: возможно ли когда-нибудь итальянцу сделаться способным к той трудолюбивой жизни и к тем учреждениям, которые составляют гордость англичанина? Две главные политические школы, представителями которых в политической экономии можем мы назвать Мальтуса и Годвина, отвечают на вопрос о причинах национального различия так же несогласно, как и на все вопросы, кроме разве одних астрономических. Одни говорят: коренное основание различия между народами заключается в племенных особенностях организма. Ленив, беспечен, фанатичен испанец от природы, и как бы ни изменялась его судьба, он никогда не может сравниться с англичанином по трудолюбию и расчетливости, как серна никогда не может получить качеств лошади и навсегда останется неспособной ни к труду, ни к правильной жизни. Но очевидна неосновательность такого предположения. Европейские народы, за очень незначительными исключениями, все принадлежат к одной и той же расе\*. Испанцы, французы, немцы, англичане и славяне так мало различаются между собою по органическому устройству, что рассудительный наблюдатель должен признаться: на физических особенностях европейских народов вовсе не может опираться то чрезвычайное разнообразие быта и привычек, которым полагается столь громадная разница и в настоящем благосостоянии и в надеждах на будущее у англичанина и славянина, у француза и испанца.

---

\* Читатель видит, что мы говорим только о народах кавказской или арийской (индо-европейской) расы, оставляя на этот раз в стороне вопрос о том, существует ли между различными расами, например, нашею и африканскою, от природы какое-нибудь чувствительное различие в степени умственных и нравственных дарований. Этот вопрос гораздо сомнительнее, нежели дело о племенных природных качествах народов одной и той же расы. Мы убеждены, что и негр отличается от англичанина своими качествами исключительно вследствие исторической судьбы своей, а не вследствие органических особенностей. Но все-таки это дело, подлежащее спору, а в вопросе о народах одной расы сомнение невозможно. Для предмета настоящей статьи, достаточно говорить о народах одной расы, — до краснокожих и негров нам нет дела, когда мы рассматриваем экономический быт европейских стран.

Чтобы начать с наружного вида, заметим, что француз и англичанин не более различны между собою по физиономии, нежели ярославец и воронежец; что часто два родные брата, имеющие одного отца и одну мать, разнятся по физиономии больше, нежели итальянец и немец. Мы по ежедневным встречам так щепетильно изучили национальные различия своих соседей, что ничтожнейшие черты этого различия сильно врезались у нас в памяти; мы похожи в этом случае на опытного типографщика, который легко находит разницу между двумя экземплярами одной и той же книги; на игрока, который замечает разницу в крапе двух карт одной и той же колоды, между тем как для взгляда, неприготовленного к этим тонкостям, разницы не заметна. Так точно китаец не может различить англичанина и француза, тот и другой для него совершенно одинаковы на вид, как для нас совершенно одинаковы на вид все негры, хотя плантаторы и различают между неграми множество племен, столь же разнообразных для их глаза, как разнообразны для нашего глаза англичанин и итальянец. Но действительно ли и для нашего глаза так заметна эта последняя разница? Да, если под словом «мы» разумеет нас с вами, читатель, людей, которые начитались исторических и географических книг. Для народа, физическое зрение которого не подготовлено книгами и учением к замечанию этих различий, итальянец представляется точно таким же немцем, как англичанин. Ни один мужик не сочтет немцем негра, одетого в европейский костюм, — тут разница физиономий действительно велика; но если вы умеете различать немца от француза, то почему я знаю, быть может, вы умеете различать и гасконца от нормандца? По крайней мере, разницы между ними никак не меньше: один приземистый, с черными, курчавыми волосами, другой высокий, с длинным лицом и белокурыми волосами. Говорят о различиях в фигуре черепа и величине так называемого лицевого угла; у англичанина, говорят, развит по преимуществу лоб, у француза более затылок. Сравните в этом отношении различные сословия одного и того же народа, и вы увидите разницу несравненно более значительную. Высшие сословия всегда отличаются от низших большим развитием лба; это зависит единственно от образа жизни и занятий. Дело известное, что в третьем или много в четвертом поколении потомство людей, вышедших из простонародья в знать, приобретает ту аристократическую структуру тела и между прочим черепа, которой лишен был предок. Тут дело в том же роде, как относительно нежности кожи. Конечно, у того, кто до пятидесяти лет пахал землю и косил сено под жгучим солнцем, останется темноватый цвет и некоторая жесткость кожи, хотя бы он потом двадцать лет ездил в карете; но у его сына и особенно внука, не видавшего черной работы и воспитанного в батистовых пеленках, цвет кожи удовлетворит

самого взыскательного знатока аристократических признаков породы. Говорят о различии в объеме мозга и упругости его фибр. Тут разница между европейскими народностями опять ограничивается сотыми и тысячными дробями единицы, и несравненно значительнейшая разность находится между сословиями одного и того же народа. И знаете ли, как просто объясняет физиология все эти различия? У простого народа лоб менее высок, челюсти более развиты, нежели у высших сословий. Отчего это? Человек высшего сословия ест кушанья питательные, хорошо приготовленные, его зубы во время обеда трудятся очень мало; неужели ваш хлеб черств, или ваш бифштекс похож на подошву, неужели ваша редиска похожа на деревянистую редьку? Ваша пища так легко пережевывается, что ваши соседи за обедом не замечают даже, если у вас зубы вставные. Не такова пища простолюдина. Она груба и жестка; она мало питательна, потому и пережевывать ее гораздо труднее, и количество ее гораздо значительнее. Не гордитесь же тем, что ваш лицевой угол больше, что скулы у вас менее выдались, — это зависит просто от того, что пережевывать приходится вам гораздо меньшее количество гораздо менее грубых съестных материалов. Болонка вашей супруги также имеет более крутой лоб и гораздо менее развитые челюсти, нежели дворняжка.

Совершенно нелепостью было бы принимать чем-нибудь важным коренное различие, будто бы от природы существующее, между европейскими народами, когда мы видим, что с изменением образа жизни и обстановки происходят в тысячу раз большие изменения в структуре и характере животных. Из неукротимой породы испанских быков, между которыми один, как ничтожную собачонку, распорол тигра, когда его вздумали свести на арене с тигром, — из этой породы, с волнистыми очертаниями спины, с прекрасными рогами, с выпуклым лбом, можно произвести английскую безрогую, неподвижную, робкую породу, с плоской спиной и плоским лбом. Неужели наши домашние гуси произошли не от диких гусей? И может ли быть найдена, не говорим уже между европейскими народами, но хотя бы между древними греками, с их беспримерно большим лицевым углом, и неграми, хотя сотая часть той разницы в структуре тела, какая отделяет простого быка от его недавнего потомка — девонширского быка?

Зоологические сравнения и физиологические соображения доказывают, со всей тою несомненностью, какая только возможна при доказательствах, основанных на умозаключении и аналогии, что племенные особенности европейских народов не могут служить основанием различия в их быте и привычках; что эти различия слишком ничтожны для произведения такого великого разнообразия; что, наконец, в каждом народе есть между людьми различных областей или различных сословий органи-

ческие различия, более резкие, нежели те черты, которыми организм одной нации отличается от организма другой; что потому, когда эти более значительные различия произведены в одинаковом основном национальном типе единственно различием исторической судьбы, то, конечно, и менее резкие особенности, которыми один национальный тип отличается от другого, не нуждаются для своего объяснения в предположении первобытного различия племен, а совершенно достаточную причину должны иметь в различии исторической судьбы различных народов Европы. Положительными фактами подтверждает эти выводы сравнительная филология. Она с математическою несомненностью доказывает, что никакого первобытного различия между итальянцами, французами, немцами и славянами не существовало, что все эти народы произошли из одного народа, говорившего одним языком, жившего совершенно одинаковым бытом, с одними понятиями, привычками, физическими и нравственными качествами. Эта истина доказана фактами сравнительной филологии с математической достоверностью.

Но сравнительная филология наука новая; факты, ею открытые, не успели еще стать каждому известны настолько, чтобы он всегда соображался с ними в своих суждениях. Многие ученые еще толкуют о племенном различии организма европейских народов, как будто гипотеза об этом различии еще может поддерживаться после открытий сравнительной филологии. Но даже и между этими отсталыми людьми рассудительные наблюдатели замечают, что объяснять различие в быте народов племенными особенностями их организма, значит объяснять все обилие воды в Волге многоводностью Селигеровского пруда, из которого берет она начало. Очевидно, что не этому беденькому озерочку обязана она своим величием; очевидно, что от других рек, и самых ничтожных речек, имеющих не менее ширины в своем источнике, становится она различна только тем, что на дальнейшем пути ее встречаются притоки, которых недостает другим рекам.

Видя недостаточность племенного различия от природы для объяснения нынешнего различия в привычках и качествах европейских народов, почти все ученые обращаются за этим объяснением к исторической жизни этих народов. Но на этом пути некоторые останавливаются при самых первых фактах развития и хотят все объяснять влиянием окружающей природы, теми удобствами и затруднениями, какие представляет она для образования в народе известных занятий, и влияниями, какие известный климат может иметь на образование темперамента. Тут начинаются толки о том, как под небом Ионии должны были родиться песни Гомера, как дивное растяжение морских берегов, множество заливов и гаваней возвысили предприимчивость греков, как суровая природа Скандинавии воспитала бесстраш-

ную отвагу норманнов и т. п. Гордость, свойственная всякой новой отрасли знания, восхищение, овладевающее умами при всякой вновь созданной истине, сообщает большую привлекательность этому способу объяснения, составляющему существенный смысл сравнительной географии. Разве слепой может отвергать огромное влияние, обнаруживаемое характером и положением страны на характер народа, в ней поселяющегося. Особенно в начале народной жизни географическая обстановка обнаруживает всю силу над народными занятиями. Но впоследствии является даже в этих занятиях, не говоря уж об обычаях народа, перемена, не объяснимая ни природою страны, ни географическим ее положением. Много веков не существовало купеческих флотов у народа, продолжавшего жить в Афинах и Коринфе; финикийские и карфагенские побережья до сих пор лишены торговой деятельности; благодатные земли Вавилонии не имеют ни садов, ни нив; Сицилия, центральный и удобнейший пункт для торговли между тремя частями Старого Света, страна невообразимо богатой почвы, не имеет торговли, почти лишилась земледелия. С другой стороны, в Северной Америке принимают самое живое участие в морской торговле и те штаты, которые лежат очень далеко от моря. Никакими географическими условиями невозможно объяснить, почему бы Бразильская страна могла так далеко отстать от Северо-американской: чем хуже северо-американских бразильских берега? чем хуже Амазонская река хуже, нежели Миссисипи? Разве почва и климат в Сицилии не гораздо более благоприятствуют успехам земледелия, нежели в Англии? Из таких примеров, сотнями представляющихся и в истории и в современной статистике, мы видим, что природа и климат страны имеют решительное влияние над народом только при начале его жизни, а впоследствии, при дальнейшем развитии гражданского общества, географическое и климатическое влияние страны отодвигается уже на второй план, и характер народных занятий уже начинает в гораздо большей степени зависеть от каких-то других влияний. Это относительно занятий народа. Что же касается его темперамента, тут, конечно, климат страны постоянно сохраняет большую, почти всегда преобладающую силу. Жители дождливой и прохладной Англии, конечно, не могут иметь холерического темперамента итальянцев. Голландец, конечно, от природы своей страны более флегматичен, нежели грек. Но если темперамент имеет большое значение в приятельских беседах и семейном кругу, то едва ли можно приписать какую-нибудь существенную цену различию темпераментов относительно деловой, практической жизни. У многих есть привычка холодному темпераменту англичан приписывать их благоумие и непреклонность в достижении своих целей. Римляне ничуть не уступали этими качествами англичанам, хотя по темпераменту ничуть не отличались от нынешних итальянцев. Ны-

нешние сирийские ленивцы сохранили темперамент неутомимых финикийян. Обратилось уже в обычай противопоставлять французское легкомыслие и опрометчивость английской осмотрительности и благоразумию. Но неужели в самом деле англичанин менее француза способен увлекаться, делать безрассудства, рисковать жизнью и состоянием? Надобно бы хотя припомнить, что эксцентричность англичан вошла в пословицу. Хитрецы и просяки, энтузиасты и эгоисты равно встречаются во всех темпераментах. Флегматики имеют точно такие же страсти, как и холерики; разница только в том, что один любит болтать о том, что он делает, другой менее, а делают они одно и то же. Если француз любит пить шампанское с криками и песнями, то и англичанин пьет шампанского не меньше, хотя не кричит при этом. Молчаливость многие считают неотъемлемым признаком практичности, говорливость — вывескою пустоты. Но если молчаливый Вильгельм Оранский был хороший дипломат, то не менее искусен в дипломатике был говорун Талейран. Если угрюмый и молчаливый Валленштейн умел хорошо вести войну, то не менее хорошо вел ее шутник и говорун Суворов. Говоруны и люди молчаливые, весельчаки и люди угрюмые равно встречаются между людьми дельными и людьми пустыми. Темпераментом определяется характер отдыха. С человеком веселого темперамента приятнее обедать, нежели с человеком угрюмым. Но который из них лучше, усерднее и успешнее работает, это зависит вовсе не от темперамента. Англичане покорили Ост-Индию; так, но греки, на которых французы походят более, нежели другие нынешние народы, точно так же покорили Персию. Монголы были флегматичны, арабы были холерики, но завоевания тех и других одинаково блистательны. Арабы — холерики, тунгузцы — флегматики, но и те и другие одинаково ленивы. А было время, когда и арабы отличались деятельностью не меньше нынешних англичан. И наоборот, было время, когда предки нынешних англичан и немцев, британцы и германцы, были ленивейшими существами в мире. Дело тут, как видим, вовсе не в темпераменте.

Таким образом, ни природа, ни порождаемый ею темперамент народа вовсе недостаточны для объяснения народных занятий и быта, как скоро народ выходит на поприще исторического развития. Чем же объяснить различие национальных качеств и быта в различных европейских народах? Для этого нужно только, не останавливаясь на первоначальном факте их жизни, на отношении их к природе стран, с таким же вниманием наблюдать и влияние других отношений, среди которых проходила и проходит их жизнь. Отношения эти определяются гражданским устройством народов. Только недавно понято, какую чрезвычайно важную роль играли эти отношения в всемирной истории. Сколько, бывало, набирали причин для объяс-

нения падения древней Греции и потом Рима! — и все-таки не могли понять, почему погибли Афины, погибла Римская империя. Но едва вникли в гражданские отношения этих государств, все стало ясно. Главная причина в обоих государствах одна и та же — невольничество. Пока граждане сами возделывали свои поля, сами были матросами на своих кораблях, государство возвышалось; но когда политическое могущество доставило ему данников и невольников, когда граждане, то есть класс населения, управляющий государством, привыкли жить трудами этих данников и невольников и отвыкли от неутомимой заботы о своем пропитании, которое получали уже задаром, государство стало разрушаться. Трудолюбие полезно, а праздность вредна — эта поговорка давно известна; так, но разумна становится она только тогда, когда мы поймем, что праздность и трудолюбие возникают или ослабевают в человеке просто вследствие гражданских его отношений; что из этого же самого основания возникают и все другие достоинства или недостатки народа.

Вот, например, хотя бы повести речь об увеличении народного капитала, о тех привычках и обстоятельствах, которые действуют или препятствуют этому делу. Прежде всего тут каждому приходит на мысль война. Нечего и говорить о том, что война есть дело жестокое и дурное в нравственном отношении, — в этом все согласны; но моральное осуждение мало действует на человека, пока не поймет он, что дело дурное есть вместе с тем и дело убыточное для него. С этой последней, практической точки зрения преимущественно и нападают теперь на войну. Недавно ученые успели согласиться в том, что война для народов, имеющих оседлость, дело убыточное; но и до сих пор еще далеко не каждый вполне понимает, до какой громадной степени простирается убыток, наносимый привычкою европейских народов к войне.

Чтобы понять его, начнем не с самой войны, не с этого экстраординарного расхода людей и денег, а <с> того нормального положения дел, в которое поставлены европейские народы своими воинственными понятиями.

Зачем содержатся такие сильные армии в каждом европейском государстве? Ответ готов: затем, чтобы быть готову на случай войны. Не сомневайтесь в силе этого ответа, не вздумайте предполагать, что в некоторых государствах, например в Австрии и Франции, правительство держит войска, как опору против врагов не столько внешних, сколько внутренних. Быть может, это и так, но дело в том, что никакой государственный факт не может существовать без благовидного основания, а единственное такое основание для сильных армий в мирное время — необходимость быть готову к войне. Если б не было этой причины или этого предлога, неужели, вы думаете, что

была бы нравственная возможность удержать факт? Какая нация согласилась бы содержать армию, если бы не верила, что армия нужна против внешних врагов? Каждый знает, что для охранения внутреннего порядка существует совершенно иное учреждение — полиция; что если есть в государстве порядок, то и одной полиции достаточно для его поддержания. Конечно, когда явление вызвано к жизни, то можно пользоваться им и для других целей, кроме его прямого назначения; но только прямое назначение общественного учреждения дает ему силу и возникать и сохраняться. Прямое назначение армии — война, и исключительно война оправдывает и поддерживает существование армий. Посмотрим же, сколько стоит война Европе в то время, когда Европа наслаждается совершенным миром.

Число войска всех европейских государств в сложности простирается в мирное время до 4 000 000 человек. Издержки на их содержание надобно полагать не менее как в 500 000 000 р. сер<ебром>. К этой сумме прямого расхода надобно прибавить ту потерю, которая производится отнятием столь огромного числа рабочих рук от земледельческих, ремесленных и других производительных занятий. Мы будем не далеки от истины, если положим, что, чрез отнятие каждого солдата от мирных занятий, теряется ценность продуктов в Англии на 345 р. сер<ебром>, во Франции на 225 р. сер<ебром>, вообще в Европе средним числом на 165 р. сер<ебром>. Помножая последнюю цифру на 4 000 000 европейцев, занятых военною службою, мы видим, что отнятие их от мирного труда ежегодно лишает Европу суммы продуктов, которую нельзя оценить менее как в 660 000 000 р. сер<ебром>. Присоединив к этому числу 500 миллионов р. сер<ебром> прямого ежегодного расхода на войско, мы видим, что содержание армий поглощает ежегодно сумму более, нежели в 1 150 000 000 р. сер<ебром>; соединенные бюджеты трех великих европейских держав: России, Англии и Франции, едва равняются этой сумме. Она составляет почти половину всех ценностей, производимых годичным трудом целого русского или целого французского народа. [Цифры эти так громадны, что трудно даже вообразить их страшную величину, потому приведем другой способ для их оценки. Прямые расходы на содержание войска составляют в европейских государствах средним числом около третьей части всех государственных расходов. Мы видели, что потеря, происходящая через отнятие рук у мирных занятий, относится к прямым расходам на войско по крайней мере как 4 к 3. Соединив вместе эти величины, мы увидим, что если бы какое-нибудь государство могло отказаться от содержания армии, то облегчение, доставленное тем народному труду, равнялось бы тому, как если бы три четверти всех пошлин и налогов были уничтожены. Можно дать понятие об огромности потерь и издержек на армию еще следующим обра-

зом: Европа от содержания армии теряет такую массу богатств, которая была бы достаточна для построения 25 000 верст железных дорог.]

Не нужно говорить о том, в какой огромной пропорции возрастают эти потери и издержки во время войны. [Издержки Англии на последнюю войну с Россией потребовали сверх обычных расходов на содержание армии еще около 700 миллионов р. сер<ебром>; такая же сумма, если не больше, была израсходована Франциею, так что Крымская кампания, продолжавшаяся менее двух лет, обошлась двум союзным государствам около 1 500 миллионов руб. сер<ебром>.] Войны с Франциею в конце прошлого века и начале нынешнего, до низвержения Наполеона, одной Англии стоили по умеренному вычислению не менее как 6 500 миллионов рублей серебром. Какова же будет цифра, если прибавить к этому расходы самой Франции и государств, бывших в союзе с Англиею? Но и эта страшная трата не так еще значительна, как та потеря, которая произошла в людях. Смерть мужчины молодых или средних лет уменьшает народный капитал в Европе средним числом не менее, как на 1 500 рублей серебром. Число убитых во время наполеоновских войн превышало два миллиона. Конечно, втрое большее число людей сделались неспособны к работе от полученных ран и должны также считаться потерянными для национального труда. [Таким образом, в одних убитых и раненых Европа лишилась 8 000 миллионов руб. сер<ебром>.] Прибавим к этому еще гораздо значительнейшую потерю чрез отнятие рук от мирного труда, и цифра возрастет в несколько раз. Если мы положим, что наполеоновские войны стоили Франции столько же, сколько Англии, и что расходы всех остальных государств, участвовавших в этих войнах, вместе равнялись расходам Англии, то мы получим следующие цифры: прямой расход Европы на ведение войн с 1792 до 1815 года 19 500 миллионов руб. сер<ебром>; потеря в убитых и раненых 12 000 миллионов р. сер<ебром>; потеря через отнятие рук от мирного труда 26 000 миллионов р. сер<ебром>; общая сумма всех потерь Европы от войн 1792 до 1815 года 57 000 миллионов р. сер<ебром>, — то есть такая сумма ценностей, которая далеко превышает всю ценность европейской земли. Быть может, этот вывод станет понятнее, если мы выразим его, вместо прежней отрицательной, в положительной форме: если бы та сумма труда и капитала, какая потрачена была в эти годы Европою на войну, употреблена была на земледелие, то Европа была бы вдвое богаче, нежели теперь; те, которые ныне едва имеют средства есть мясо только в большие праздники, могли бы каждый день иметь не только мясо, но чай и кофе.

Этими прямыми и косвенными расходами не ограничиваются убытки, нанесенные войнами вещественному капиталу евро-

пейских народов. После расходов на содержание военной силы огромнейшую тяжесть для государственного бюджета вообще составляет государственный долг. [Проценты его в Англии поглощают половину всех государственных доходов, во Франции третью часть, во многих других государствах столько же. По вычислению Редина долг всех европейских государств вместе составлял в 1850 году около 12 000 миллионов руб. сер<ебром>, а проценты его 440 миллионов. С того времени эти цифры значительно увеличились, так что в настоящее время проценты составляют до 450, а капитал до 14 000 миллионов руб. сер<ебром>.] Если прямые расходы на войну простираются почти до третьей части доходов всех европейских государств, то немногим менее составляют и проценты долга. А почти весь этот долг произошел также вследствие войн. Таким образом, война и ее последствия поглощают в мирное время почти две трети всех государственных доходов европейских держав; в военное время эти потери увеличиваются в три и четыре раза.

Как ни велики тяжести, которыми уменьшает война вещественный капитал наций, но те потери, которые наносит она нравственному капиталу образованных народов, должны считаться еще более значительными. Основанием всякого благоустройства, необходимейшим условием возникновения и возрастания в народах любви к труду и привычки к экономии надобно назвать господство закона, уверенность в силе законности, в преобладании права над грубою силою. Война является опровержением этого порядка и этих убеждений. Она разрушает всякую экономию, она убивает любовь к труду, отнимает право пользоваться плодами труда и экономии. Владычество военной силы, предпочтение, оказываемое государством сословию воинов пред мирными сословиями, конечно, не может действовать благоприятно на развитие мирных занятий. Даже в Англии, наименее воинственной из всех стран Европы, величайшею знаменитостью, популярнейшим человеком XIX века был Веллингтон, — из этого уже можно видеть, как сильны склонности, свойственные войне, до какой степени берут они перевес над идеями экономии даже в Англии. Не менее прискорбный пример того же самого был доставлен последними выборами в английский парламент, когда Кобден и Брайт, пользовавшиеся до Крымской кампании чрезвычайною популярностью, были отвергнуты своими избирателями за то, что доказывали совершенную ненужность для Англии и страшную разорительность войны с Россиею.

В самом деле, не только Англия в 1854 году не стала бы начинать войны с Россиею, если бы держалась здравых экономических понятий, но и вообще очень мало в истории найдется таких войн, которые были начаты по причинам удовлетворительным в глазах экономиста. Общество друзей мира составило перечень войн, веденных в Европе со времен Константина до 1849 года.

Что же оказывается? Из 286 войн 44 были начаты для завоевания областей; 22 из желания собирать военные контрибуции; 24 из мщения за прежние войны; 8 из-за споров о титулах; 6 из-за спора за обладание какими-нибудь округами; 41 из-за престолонаследия; 30 под предлогом помощи союзнику; 28 из-за дипломатического соперничества; 28 из-за религиозных раздоров. Затем остаются 60 войн, начатых по несогласиям относительно гражданского быта и торговых дел. С экономической точки зрения, только для последних могли существовать основательные причины, только их выгодное окончание могло приносить действительную пользу нациям, начинавшим их, в том случае, если предмет спора был достаточно важен для того, чтобы оправдывать столь громадные пожертвования. Но и тут чаще всего оказывается, что игра далеко не стоила свеч. Что же касается до 226 других войн, то очевидно, что они начались единственно вследствие предубеждений или эгоизма, не имевшего никакой связи с истинными национальными интересами.

Ост-индское возмущение<sup>7</sup>, которым теперь так сильно занята вся Европа, представляет нам удобный случай рассмотреть, приносят ли обыкновенно пользу для нации даже самые счастливые войны, даже тогда, когда так называемый национальный интерес требует их. Мы нимало не сомневаемся в том, что англичане победят своих противников, мы не сомневаемся в том, что все англичане единодушно желают самого энергичного ведения войны и почли бы для себя невыносимым позором покинуть Ост-Индию, господствование в которой представляется им столь выгодным. Но какую в самом деле выгоду английская нация получит от восстановления английского владычества в Ост-Индии? Очень основателен был расчет каждого из свирепых воинов, устремившихся на Англию под знаменами Вильгельма Завоевателя: покорив ему новое государство, каждый из его солдат получил от него владение в Англии; вся страна была разделена между воинами; от главного предводителя до последнего латника, каждый завоевал себе поместье. Но получит ли в Ост-Индии поместье хотя один из английских солдат, отправляющихся на завоевание этой страны? Увеличится ли хотя на один шиллинг благосостояние какого-нибудь капрала 63 полка службы ее великобританского величества, когда этот полк будет стоять гарнизоном в Дели, вместо того, что прежде стоял гарнизоном в Оксфорде? Нет, капрал будет получать прежнее свое жалованье и только. Из-за каких же благ он сражается? «Я сражаюсь, скажет он, за выгоды не свои личные, а целой английской нации». В этом еще меньше можно ему поверить. Даже при Вильгельме Завоевателе, когда каждый солдат получил огромную прямую выгоду от завоевания, население Нормандии ни на один су не выиграло оттого, что Англия была завоевана Нормандией. Разве нормандскому земледельцу

подарено было что-нибудь из добычи? Разве даны были английские лошади для его плуга или английские деревья для перестройки его хижины? Кто был на войне, тот выиграл; кто оставался дома, не получил ровно ничего. Напротив, он потерял, потому что на его счет была снаряжена экспедиция Вильгельма. «Не выиграли отдельные люди, но выиграла целая страна». Что же она выиграла? разве уменьшились подати? разве улучшилась администрация в Нормандии оттого, что к ней присоединилась Англия? Вовсе нет. Администрация стала хуже прежней, потому что у нормандского герцога явились новые заботы, когда он завоевал Англию, и часть того внимания, с которым он прежде занимался нормандскими делами, была отнята у Нормандии Англией. Администрация стала хуже — вот весь выигрыш Нормандии от блистательного завоевания. Точно таков же и для Англии выигрыш от обладания Ост-Индией. Вот теперь, например, отложены в Англии все заботы о внутренних улучшениях, не до них теперь английскому правительству: оно занято исключительно ост-индскими делами. Та же история повторялась беспрестанно и до сих пор: нужно воевать то с сейками, то с афганцами, то с персиянами, то с китайцами, то хлопотать о присоединении Аудского королевства<sup>8</sup> и разбирать претензии этого экс-владельца, и вечно-таки все некогда хорошенько и безотлагательно подумать об английских делах английскому правительству: все мысли его заняты Ост-Индией; некогда подумать о своих делах и английскому народу, — он тоже беспрепятственно отрывается от своих дел заботами об ост-индских делах. Владение Ост-Индией отвлекает Англию от заботы о своих домашних делах, вот вся выгода для Англии от этого владычества. Для Ост-Индии, быть может, очень полезно, что она находится под властью англичан, быть может, англичане просвещают ее, улучшают ее администрацию, облегчают налоги, введенные моголами с их субабам и набабами, — мы даже уверены в этом, несмотря на завистливые толки об эгоизме и бездушии английского владычества в Ост-Индии, — толки, расходящиеся по свету от Варренов и тому подобных французов, которым очень жаль, что не они, а англичане завоевали Индию. Действительно, нельзя сомневаться в том, что английское владычество приносит пользу Индии; но, во-первых, для филантропической заботливости о чужом благе есть много средств, кроме владычества, поддерживающегося исключительно штыком и штуцером, — можно даже полагать, что дружеские мирные сношения приносят больше пользы просвещаемому народу, нежели насильственное наложение просвещения; во-вторых, расстраивать свои дела для поправления чужих, — это прекрасно, но вовсе не благоразумно, а таково положение, в которое ставит Англию к Индии владычество вооруженной рукой. Для Ост-Индии оно выгодно, для Англии убыточно. «Как убыточно? а торговые выгоды? Англия

своим господством обеспечивает сбыт своим товарам в Индию; без того другие нации оттеснили бы ее из ост-индской торговли». Все это хорошо было говорить сто лет тому назад, а теперь каждый знает, что для ведения торговых дел насилие очень плохой способ. Продают же англичане северо-американцам гораздо больше своих товаров, нежели индейцам, хотя в Ост-Индии в шесть раз больше населения, нежели в Соединенных Штатах, и хотя другие народы также продают северо-американцам чрезвычайно много своих товаров. Тут все зависит от благосостояния покупающей нации, а не от господства над нею. Ныне уже доказано, что война из-за торговых интересов или насильственное господство — самое убыточное дело для торговли. Если бы в своих отношениях к Ост-Индии англичане руководились коммерческими выгодами, они давным-давно отказались бы от управления ею: независимый народ всегда покупает более товаров, нежели зависимый. Пример тому представлен Соединенными Штатами: только с того времени, когда они отторглись от Англии, стала в громадных размерах возрастать их торговля с Англиею. Ни английская нация, ни даже английские негоцианты и фабриканты не получают от владычества англичан в Ост-Индии ничего, кроме убытков.

Однако должно же быть оно кому-нибудь выгодно в Англии, если она так хлопотала о его создании и теперь хлопочет о его восстановлении? Разумеется, кому-нибудь в Англии оно полезно, и даже нетрудно отыскать, кому именно. В Ост-Индии по гражданскому и военному управлению существует множество очень выгодных должностей; должности эти замещаются родственниками и друзьями людей, управляющих Англиею. Для нации война убыточна, но для того класса людей, который управляет Англиею, она очень выгодна; для нации господство над Ост-Индиею бесполезно, но могущество английского министерства и парламента, его значение между другими европейскими правительствами увеличивается господством над Ост-Индиею.

Если таковы прямые выводы, доставляемые счастливым исходом даже столь справедливой войны, как нынешняя Ост-Индская, то легко сделать заключение, кому могли быть полезны другие войны, веденные Англиею, — войны, далеко не столь справедливые.

Человеку трудящемуся разорительна всякая война; полезна для него только та война, которая ведется для отражения врагов от пределов отечества. Совсем не таковы выгоды английского министерства и людей, разделяющих с ним управление английскими делами: они живут не плодами собственной работы; интересы труда имеют для них только незначительную важность; напротив, для них прямым образом выгодно все то, что увеличивает внешнее могущество Англии; притом же, как люди, с избытком

обеспеченные в жизни, они находят свое удовольствие в блеске и шуме: человек трудящийся думает о средствах добыть хлеб, они думают о средствах приобрести блистательную славу.

Их интересы часто бывают противоположны истинным интересам английской нации; но человек всегда склонен считать полезным для своей родины то, что полезно лично для него, и они искренно утверждают, что для Англии мало внутреннего благосостояния, а нужно внешнее могущество.

Они стоят во главе нации, она привыкла следовать за ними, верить им, — и вот она верит им, что в делах, которые совершенно чужды интересам английского труда, замешана национальная честь или благосостояние.

Недавно, с образованием манчестерской партии, в лице Кобдена и его друзей, получили голос среди английского парламента интересы фабрикантов, и мы видим, что Кобден совершенно не так думает о вопросах внешней политики: он прямо утверждал, что, собственно говоря, Англии нет никакой нужды вмешиваться в отношения России к Турции. Это казалось парадоксом, потому что противоречило укоренившимся предубеждениям. Но нет никакого сомнения, что новый принцип будет усиливаться по мере того, как будет увеличиваться участие английских фабрикантов в английском правлении.

Конечно, еще значительнее то изменение, которое будет внесено в эти дела прямыми интересами трудящегося класса, — манчестерская школа не есть еще полная их представительница. Когда трудящийся класс приобретет решительное влияние на английские дела и образуется опытностью в них настолько, что будет судить сообразно интересам труда, а не внушением людей, чуждых этим интересам, Англия совершенно откажется от всяких войн вне пределов своих. Когда таково же будет положение других европейских стран, исчезнет всякая возможность войны между ними.

Но до того времени войны неизбежны, хотя совершенно противны прямым интересам каждой из воюющих наций; до того времени Веллингтоны и Наполеоны будут популярнейшими людьми между своими согражданами, хотя подвиги их не принесли этим согражданам ничего, кроме потерь.

Мы видим теперь, от чего зависит свойственная всем европейским народам склонность к воинственности: она зависит от гражданского устройства этих обществ. Если склонность, столь неестественная в людях трудящихся и, однако же, до сих пор владущая над европейским бытом, развилась и поддерживается вследствие гражданского устройства этих наций, то легко можно заключить, достаточно ли этой причины для объяснения того, почему вообще в той или другой нации развились те или другие склонности, несообразные с интересами национального благосостояния.

В самом деле, если мы внимательно проследим историю каждой из европейских наций, мы увидим, что весь ее современный быт, все ее наклонности объясняются влиянием тех гражданских учреждений, под влиянием которых она жила и живет. Вследствие известных исторических событий появлялись в гражданском обществе различные учреждения, потом создавались законы, сообразные с этими учреждениями. Нация изменяла свои привычки сообразно духу этих учреждений и законов. События и учреждения в различных странах были различны, потому и нации, начавшие свою жизнь совершенно с одинаковыми привычками и наклонностями, являются в настоящее время совершенно различными.

Возьмем в пример три нации, занимающие самый западный край Европы, — испанскую, французскую и английскую. Припомним только важнейшие факты их жизни, — уж и этого будет довольно для убеждения в том, что все наклонности каждого народа, оставившего за собою период младенческой зависимости от внешней природы, создались и поддерживаются его учреждениями и законами.

Вестготы, франки и англо-саксы ни на волос не отличались друг от друга своими наклонностями и обычаями; завоеванные ими страны также были населены народами, получившими одинаковые качества под влиянием римского владычества.

Но в Испании начинается упорная семисотлетняя борьба против мусульман-мавров<sup>9</sup>; вследствие этого испанцы предаются католическому фанатизму; у них является инквизиция, первоначально направленная против мавров. Привыкнув считать католичество основною драгоценностью своей жизни, они отдают ее в полное распоряжение доминиканцам, а потом иезуитам. Это сковывает их мысль. Под покровительством инквизиции, опираясь на католический фанатизм, макиавеллиевская политика разрушает все те учреждения, которыми держалась самостоятельность народа, и испанцы становятся нацией, лишенной всякой умственной и гражданской жизни. Они погружаются в летаргию и невежество. Вторжение французов<sup>10</sup> пробуждает их к жизни. Но они так долго спали, что отвыкли от умения вести свои дела; они так пропитались предубеждениями и формализмом невежества, что являются людьми, совершенно отвыкшими ясно понимать вещи; потому история их, со времени французского вторжения, есть беспорядочная борьба между всевозможными ошибками неопытности и увлечениями умственного детства. Они к чему-то стремятся, но к чему именно, это еще не ясно, это еще только начинает проясняться для них; и какие средства нужно употреблять им для достижения цели? Этого они еще не знают, они еще только пробуют. Законности у них давно не было, потому они не уважают закона; собственность и личность очень долго лишены были всяких гарантий, потому они ленивы, и

энергия их умеет проявляться еще только судорожным, лихорадочным образом, и за стремительным порывом, внушаемым настоящими потребностями, следует долгий припадок апатического бездействия. У них есть славное прошедшее, потому они горды; но их настоящее вовсе не блистательно — потому они угрюмы.

Во Франции после того хаоса, который был во всех западных странах вследствие переселения народов и за которым у испанцев следовала борьба с маврами, является распадение страны на несколько сильных областных владений; идет борьба между этими владельцами и королем, но в то же время идет война с внешним врагом — англичанами. Король, являясь представителем национальной независимости, получает возможность завести регулярное войско. Опираясь на это войско, он мало-помалу подавляет все противные ему силы — феодалов и горожан. Во Франции образуется придворное управление. Все привычки нации образуются сообразно духу придворного управления. Дальнейшая история Франции слишком известна. Но важен этот факт — долговременное придворное управление, опирающееся на войско. Все черты, которыми обрисовывают характер француза в противоположность англичанину, могут быть выведены из одного этого факта. Относительно чувства законности и опытности в гражданских делах француз имеет некоторое сходство с испанцем, потому что, подобно ему, долго лишен был гарантий закона и участия в делах, — но не так долго и полно было это отстранение, притом же у него инквизиция не властвовала над жизнью (оттого, что не было семисотлетней борьбы против неверных), потому мысль его гораздо лучше умеет понимать сущность дела и находить средства к его исполнению.

О настоящем характере англичан мы не будем говорить, потому что всем известно, как тесно связан он с английскими учреждениями<sup>11</sup>; надобно заметить только, что прежде, нежели течением долгого времени, силою привычки утвердились эти учреждения и изменили характер народа сообразно своему духу, характер англичанина вовсе не был так спокоен и тверд в чувстве любви к закону и сознания своих прав, не было в нем ни той энергии, ни того формализма, который в нем поражает ныне иностранца. Уважения к законам было в нем не больше, нежели в нынешнем испанце. Из этого видно, что не из особенностей характера его возникли его учреждения, а под влиянием особенных учреждений, созданных историческими обстоятельствами, образовался его характер.

Мы выбрали в истории каждого народа только по два, по три важнейшие факта, указали только на два, на три важнейшие учреждения, — и этих фактов уже достаточно для объяснения всех существенных особенностей в наклонностях и привычках испанца, француза и англичанина. Стоит только расширить

границы этого исторического очерка, и мы будем поражены тою точностью, с какою каждая черта национального типа объясняется гражданскими учреждениями народа. А в приведенных нами примерах особенно интересно то, что история застаёт ещё все три нации с совершенно одинаковыми наклонностями; что они остаются совершенно одинаковы в продолжение всего того времени, пока не устанавливается вследствие различных исторических событий различие в их гражданских учреждениях. Возьмем историю каких угодно других наций, и мы увидим то же самое.

Таким образом, если мы замечаем в привычках и быте известного народа особенности, благоприятствующие возрастанию его капитала, иначе сказать, возрастанию его благосостояния, мы должны знать, что благодарить за то он должен не племенные особенности своего организма, не климат страны, а просто гражданские свои учреждения; и наоборот, если мы видим, что в народе развились привычки, препятствующие возрастанию национального капитала, мы должны знать, что и тут основание лежит не в чем ином, как в гражданских учреждениях нации. Влияние всех других причин, содействующих или препятствующих национальному благосостоянию, совершенно незначительно по сравнению с влиянием гражданских учреждений. Г. Бабст прекрасно выражает эту мысль:

«Трудно себе представить (говорит он), до какой степени дурная администрация, отсутствие безопасности, произвольные поборы, грабительство, дурные учреждения действуют губительно на бережливость, накопление, а вместе с тем и на умножение народного капитала. Междоусобные войны, боёба политических партий, нашествия, мор, голод не могут иметь того губительного влияния на народное богатство, как деспотическое и произвольное управление. Чего не перенесли благословенные страны Малой Азии, каких не испытали они переворотов, — и постоянно вновь обращались в земной рай, откуда не скрутила их турецкая администрация. Что было с Францией в XVIII столетии, когда над земледельческим народонаселением тяготела безобразная система налогов и когда, вдобавок ещё, под видами последних, каждый чиновник мог смело и безнаказанно грабить? Против воров и разбойников есть управа, но что же делать с органами и служителями верховной власти, считающими свое место доходным производством? Тут иссякает всякая энергия труда, всякая забота о будущем, об улучшении своего быта. Безопасность, полная возможность пользоваться плодами своей бережливости — вот главные, значит, условия накопления капиталов». (Стр. 26—27.)

Мы не знаем, до какой степени нужно подтверждать эту мысль, столь очевидную; но вот, на всякий случай, подобное место из Бентама «О гражданском и уголовном законодательстве», которого мы цитируем в переводе, сделанном по высочайшему повелению императора Александра I<sup>12</sup>.

«Средства пропитания зависят от законов, удостоверяющих (обеспечивающих) трудящемуся плоды труда его... Если я отчаиваюсь удостоверить себе произведение труда моего, то помышляю только, как бы прожить от одного дня до другого, не хочу предаваться заботам, плодом которых могли

бы воспользоваться только мои неприятели. Сверх того, одной воли еще недостаточно для возбуждения трудолюбия, к сему потребно также иметь в обладании своем средства. В ожидании плода надлежит иметь надежное пропитание. Одна потеря может поставить меня в невозможность к действованию, несмотря на то, что она не потушит во мне духа промышленности, не уничтожит воли моей предаваться труду. Итак, это бедствие приводит человека в состояние онемения, делает его совершенно неключимым для промышленности. Нарушение чьего-либо права собственности производит беспокойство во всяком владельце. Сие чувство боязни сообщается от одного к другому и разливается, наконец, на целое гражданское общество. Для распространения (*развития*) промышленности потребно совокупное действие возможности и воли. Воля зависит от ободрений, возможность — от средств. Средства сии состоят в том, что в политической экономии разумеется под именем капитала, обращением своим прибытка производящего. Что касается до одного лица, то капитал его (*вещественный*) может уничтожиться одною потерю, между тем как дух промышленности в нем ни потушен, ни ослаблен чрез то не будет. В рассуждении же целого народа уничтожение (*вещественного*) капитала его невозможно, но гораздо прежде наступления сей пагубной минуты зло может сильно подействовать на волю, дух промышленности может погрузиться в плачевное уныние посреди естественных средств, представляемых богатою и плодоносною почвою. Между тем на волю действует обыкновенно толикое множество побудительных средств, что она долгое время сопротивляется всем потерям, всем случаям, приводящим в оскудение бодрость ее. Бедствие преходящее, как бы велико оно ни было, не умерщвляет духа промышленности. Он возрождается после разрушительной войны, приведенной в бедность, возрождается подобно мощному дубу, поврежденному бурей, который в немногие годы паки покрывается новыми ветвями и возрастает в силе своей. Для умерщвления духа промышленности потребна сила внутренней и постоянно действующей причины; таковы, например, правление, не стесняющиеся законами, вредные законы.

«Самое первое действие насилия неминуемо произведет уже некоторую степень опасения, неминуемо лишит бодрости некоторые робкие умы. Насилия, за первым следующие, более и более распространяют всеобщее беспокойство. Осторожнейшие начинают ограничивать, стеснять свои предприятия и мало-помалу оставляют ненадежное поприще промышленности. По мере усугубления насилий и угнетений боязнь и уныние распространяются все более и более; никто не заступает место удалившихся, оставшиеся впадают в недейственность. Таким-то образом, в продолжение некоторого времени (*через несколько времени*) поле промышленности, подверженное таковым бурям, соделывается бесплодною пустынею.

«Малая Азия, Греция, Египет, берега Африки, столь процветавшие земледельством, торговлею, населением в счастливые времена Империи Римской, что соделались под невежественным деспотизмом турецкого правления? Богатые чертоги превратились в хижины, и города в малые села. Сие правительство, ненавистное для всякого мыслящего человека, всегда основывало владычество свое на двух правилах, состоящих в том, чтоб истощать народ и повергать его в невежество. И прекраснейшие страны земные соделались в руках сих варваров скудными, бесплодными и лишились самых признаков прежнего их благосостояния. Не надлежит сих признаков приписывать причинам отдаленным: междоусобные войны, нашествия неприятельские и все подобные бедствия могли бы разорить запасы богатства, изгнать искусства и художества, истребить города; но источники богатства паки могут открыться, пресеченные сообщения паки могут быть восстановлены, разоренные города возникают из-под развалин их, и все опустошения вознаграждаются со временем, если люди сохраняют достоинство человек. В сих же несчастных странах достоинство сие унижено, и отчаяние, медленное, но гибельное действие отсутствия безопасности, уничтожило деятельные способности духа».

(Бентам, перевод Михайлова, том II, стр. 56—61.)

Следствие не может исчезнуть, пока продолжает существовать причина. Привычки нации изменяются изменением ее гражданских учреждений; и, желая видеть улучшение в характере нации, напрасно стали бы мы искать для этого дела опоры в чем-нибудь другом, кроме законодательства, которое одно может произвести ее. В наше время часто случается встречать преувеличенные понятия о силе общественного мнения над характером быта; многие говорят: пусть только общественное мнение делается строго к известному пороку или преступлению, и он исчезнет. Нет, общественного мнения тут мало. К разбою, к поджогам оно очень строго, — но если бы нация не защищалась от этих преступлений законодательством, по десяти раз в год выгорал бы от поджогов каждый город, сотни убийств совершались бы каждую ночь. Общественное мнение указывает только зло и средства к его искоренению; но если эти средства не приводятся в действие, зло остается неприкосновенно. Все общественные явления зависят от законов, управляющих обществом. Говорят: «над нравами бессильны законы», *vanae leges sine moribus*<sup>13</sup>. Да, закон бывает бессилен, но только тогда, когда обращается единственно против симптомов болезни; но он всесилен, когда, постигнув истинную причину зла, законодатель изменяет учреждения, производящие это зло. Поговорка о бессилии закона основана на примерах, подобных тому, как римские императоры издавали законы против роскоши и безбрачия, соединенного с развратом. Конечно, эти законы оставались бессильны; но почему? — потому что и роскошь и разврат были только следствиями учреждений, повергавших массу итальянского населения в нищету и доставлявших громадные богатства немногим избранным. Рим безотчетно управлял провинциями; правители провинций возвращались в Рим с награбленными миллионами; эти богачи скупили или захватили в свои руки всю поземельную собственность; завели тысячи невольников-мастеровых и хлебопашцев; в селах исчезло сословие мелких землевладельцев; в городах исчезло трудящееся сословие свободных людей: те и другие заменились невольниками; для свободного человека остался один способ пропитания — жить милостынею богачей, захвативших в свои руки и землю, и ремесла. При таком состоянии дел возможно ли истребить роскошь и разврат? Истинными мерами против этих бедствий было бы: дать провинциям более самостоятельности; изменить систему администрации, прекратить порядок дел, по которому весь мир был данником праздного Рима. С прекращением грабежа иссяк бы источник роскоши; с исчезновением роскоши исчезла бы нищета; вновь явилась бы и необходимость и возможность трудиться; а при отсутствии роскоши и нищеты, вместе с возрождением общего благосостояния, возвратилась бы и чистота старинных нравов. Нравы создаются гражданскими учреждениями. Бессильны над нравами законы,

не изменяющие гражданских учреждений. Но за изменением гражданских учреждений необходимо изменяются и нравы народа.

Обыкновенный путь к изменению гражданских учреждений нации — исторические события. Так, мы говорили, вследствие войн с маврами учредилась в Испании инквизиция, которая уничтожена французским завоеванием. Подобным путем всегда изменялись гражданские учреждения во Франции; до конца XVII века им изменялись они и в Англии. Но этот способ слишком дорого обходится государству, и счастлива нация, когда прозорливость ее законодателя предупреждает ход событий. Облегчить действие этим способом было целью всех мыслителей, занимавшихся наукою о государстве. Такова была цель и Бентама. Выжидать событий свойственно векам непросвещенным и непредусмотрительным, говорит он; в наше время надобно предупреждать их:

«При хорошей методе (в законодательстве), вместо того, чтоб следовать за происшествиями, их можно предварять. Вместо того, чтоб быть игралищем их, надлежит над ними господствовать. Законодатель ограниченный и робкий ожидает порождения частных бедствий, чтобы приуготовить им врачевание. Законодатель просвещенный умеет предвидеть и предупреждать их всеобщими предосторожностями и распоряжениями общими. Конечно, приступать к составлению законов надлежало (первоначально умели) не иначе, как по мере обстоятельств, дававших чувствовать в них необходимость. Сделанные проломы закиданы трупами несчастных жертв. Но в век просвещенный не должно итти по следам (следовать этому методу) веков варварских». (Бентам, I, 506.)

Очень жаль, что сочинение, из которого мы делаем выписки, так мало известно у нас: недаром оно было переведено по высочайшему повелению императора Александра I, благоволившего принять и посвящение его своему августейшему имени; недаром и сам Бентам пользовался благоволением Александра I. Один из ученейших и глубокомысленнейших мыслителей своего века, Бентам всю свою жизнь посвятил тому, чтобы просветить нации относительно наилучшего способа к достижению благосостояния, и его сочинения тем драгоценнее, что, занимаясь исключительно гражданскими учреждениями, он оставляет совершенно в стороне вопросы о формах политического устройства. Другие мыслители, писавшие о государственных вопросах, очень часто давали советы, исполнение которых непременно требовало ту или другую форму политического устройства. У Бентама этого нет: он дает только такие советы, которые исполнить одинаково легко в каждом государстве, какова бы ни была его правительственная форма. Англия и Австрия, Пруссия и Северо-Американские Штаты одинаково подходят под его программу. Об этом прекрасно говорит его друг Дюмон, издатель его «Трактатов о законодательстве».

«Г. Бентам, ища причин (находя причины) большей части бедствий народных в пороке законов их, имел предметом удаление одного из величайших бедствий, состоящего в ниспровержении властей. Всякое существующее правление составляет самое то орудие, посредством коего старается он действовать, и, открывая всем правительствам средства к улучшению их, вместе с тем показывает им и средства продолжить и утвердить их существование. Выводимые им правила могут быть приложены как к монархиям, так и к республикам. Он не говорит народам: «возобладайте властью, перемените образ правления». Он говорит правительствам: «познавайте болезни, вас ослабляющие, изыскивайте средства к врачеванию оных. Постановляйте законы, сообразные нуждам и степени просвещения вашего века. Старайтесь издавать хорошие гражданские и уголовные законы. Учреждайте судебные места так, чтобы они способны были внушить доверенность общественную. Образуйте судопроизводство на правилах простейших. Не все ли вы можете надеяться одинаковой пользы от усовершенния сих ветвей управления? Старайтесь удерживать распространение опасных мнений в народах ваших, прилагая попечение о благоденствии их. Вы обладаете властью предписывать законы, а сие одно право, с благоразумием их в действие приводимое, может служить охранением всех других прав. Открывая-то путь к надеждам законным, положите вы преграды исканиям беззаконным.

«Итак, кто стал бы искать в сем сочинении правил исключительно для какого-либо образа правления, тот обманулся бы в своем чаянии. Читатели, любящие критику, восклицания, не найдут здесь ничего для себя удовлетворительного. Сохранять, поправляя; изучать обстоятельства; щадить владычествующие и даже безрассудные предрассудки; приготавливать новые введения издалека так, чтобы они не имели даже вида новых введений; истреблять злоупотребления, не вредя пользам настоящим: таков есть неприменяющийся дух всего творения». (Бентам, предисловие, стр. XXI—XXIII.)

Действительно, этим духом, столь же мудрым, как и умеренным, проникнуты все сочинения Бентама, и такое направление, соединяющее осторожность с решительностью, было одною из причин, внушивших императору Александру I мысль познакомить своих подданных с «Трактатом о законодательстве». С этой точки зрения смотря на книгу, столь заслуживающую известности, мы думаем, что читатель одобрит наше намерение напомнить о ней несколькими выписками, которые наиболее соответствуют предмету настоящей статьи. Пусть Бентам укажет нам средства, которыми необходимо водворяется в стране безопасность личности и труда, это первейшее из всех условий, нужных для умножения народного капитала, то есть национального благосостояния.

Безопасность личности и труда нарушается преступлениями (говорит Бентам), и охранение общества от преступлений есть одна из важнейших забот законодателя. Заботами этими внушаются постановления двойного рода: наказания за преступления, уже совершенные, и меры, которыми предупреждались бы преступления.

Одних наказаний для охранения безопасности недостаточно, потому что наказанием постигается только зло, уже происшедшее, и само наказание есть зло; кроме того, многие преступления ускользают от наказаний. Оттого-то законодатель и прибегает к другим средствам для охранения общества от преступ-

лений. Некоторые думают, что можно предупреждать преступления, препятствуя приобретению знаний, которые могли бы быть обращаемы на совершение зла людьми злыми. Это средство напрасно и ненадежно, говорит Бентам: для того чтобы совершить преступление, вовсе не нужно никаких знаний; круглый невежда найдет для того не менее средств, нежели человек образованный, а если знание и употребляется во зло людьми злыми, то единственное средство уничтожить это зло есть распространение знания.

«Если бы (говорит Бентам) добрые и злые составляли два отличительные рода людей, каковы, например, роды людей белых и черных, то можно бы просвещать одних и удерживать в невежестве других. Но при невозможности отличить одних от других, при частых переменах добрых и худых положений в одних и тех же людях потребен один закон для всех. Общее просвещение или общее невежество — нет средней меры.

«Между тем, врачевание проистекает из недр самого зла. Знания могли бы тогда только доставить выгоды злым, когда бы они исключительно обладали оными. Сеть, став известною, перестает быть сетью. Народы самые невежественные умели напоить ядом вострие стрел их; но народам образованным только предоставлено было познать все яды и найти от них приличные противоядия.

«Все люди способны к произведению деяний вредных; но одним только людям просвещенным свойственно изобретать законы, могущие предупреждать сии деяния. Чем более ограничен человек, тем более способен проникать связь личных польз своих с пользами общими.

«Пройдите историю: веки наиболее варварские представят вам совокупление всех злодеяний, и злодеяний насильственных и злодеяний ухищренных. Грубость чувств производит пороки и не изъемот ни одного из них. Когда умножились наипаче живые присвоения прав и достойний? Тогда, когда одно духovenство умело читать, когда по превосходству знаний его оно почитало людей почти столько, сколько почитаем мы ныне лошадей, на коих не можно бы уже было налагать узду, если б умственные их способности увеличились. Почему в те же времена имели прибежище к судебным поединкам, к искушениям огнем и водою, ко всему, что называлось *судом небесным*? Потому что при тогдашнем детстве ума человеческого не было начал к положению различия между свидетельством истинным и свидетельством ложным.

«Сравни правления, кои стесняли обнародование мыслей, с правлениями, кои давали им свободное течение. С одной стороны представит тебе Испания, Португалия, Италия, с другой — Англия, Голландия, Северная Америка. Где более процветает нравственность и благосостояние? где чаще злодеяния? где общежительность приятнее и надежнее?

«Неимоверным образом были прославляемы установления, коими начальствующие в обществе делали монополию всех познаний человеческих. Таковы были жрецы в древнем Египте, брамины в Индостане, иезуиты в Парагвае<sup>14</sup>. Здесь можно сделать два замечания: *первое*, что если поведение их достойно хвалы, то в отношении к выгодам изобретших образ правления, а не в отношении к пользам подвластных им человекoв. Я соглашусь, что народы были покорны и спокойны под начальством сих правителей; но были ли они счастливы? Не думаю, по крайней мере, если жестокое рабство, суетные боязни, щетные обязанности, тягостные лишения и пощения, печальные мысли суть препятствия к состоянию счастливому. *Второе* замечание состоит в том, что они достигали цели своей не столько потому, что удерживали народ в естественном его невежестве, сколько потому, что распространяли предрассудки и заблуждения. Такие начальствующие сами содеывались наконец жертвами слабой и малодушной его политики. Народы, кои непрестанно были удерживаемы в состоянии уничтожения установлениями, против-

ными успехам всякого рода, содейвались добычею народов, имевших перед ними сравнительное превосходство. Состареваясь в детстве, под властью опекунов, старавшихся продлить их несмысленность для удобнейшего ими управления, они представили все удобства к порабощению». (Бентам, том III, стр. 22—25.)

Ограждая частное имущество, государство не может оставить на произвол расхитителей и свою, государственную, ответственность. Для предупреждения этих незаконных похищений служат отчеты об издержках:

«Когда (говорит Бентам) в известное время даются отчеты некоторому ограниченному числу лиц, когда лица сии избраны будут непосредственно тем, кто отчет дает, или же по его влиянию, и потом отчеты остаются уже без всяких ревизий: тогда самые важные ошибки могут упускаемы быть без исправления. Но когда отчеты обнародываемы, когда подлежат они ревизии общественной, тогда не может быть недостатка ни в свидетелях, ни в судьях, тогда всякая погрешность будет усмотрена, доказана и обнаружена.

«Такой-то расход был ли нужен? Не сделан ли он под каким-либо ложным предлогом? Общество или казна не дороже ли заплатили за такой-то предмет, нежели платят частные люди? Не дано ли первенство какому-либо подрядчику исключительно в ущерб казны? Не доставлено ли скрытым образом выгоды какому-либо любимцу? Не выдано ли ему чего под ложными предлогами? Не употреблено ли каких ухищрений к удалению соперничества совместников? Нет ли чего скрытого в счетах? Может быть множество сего рода вопросов, в которых нельзя удостовериться ясными доказательствами, если отчеты не будут представлены глазам публики. В частном комитете в одних членах может недоставать правдивости, в других познаний: ум медлительный в действиях упускает то, что для него непонятно, боясь обнаруживать свою неспособность; ум живой не вникает в подробности; всяк представляет другим тягость труда. Но все сии качества, в коих может иметь недостаток сословие малочисленное, сыщутся, конечно, в целой публике. В сей разнородной и несогласной в частях ее массе самые дурные начала, не менее начал самых добрых, поведут к надлежащей цели: зависть, ненависть, злоба будут действовать как бы дух любви общественной, и страсти сии, по их деятельности и по твердости в их направлении, исследуют еще с вящею подробностью все части и поверят предметы самые мелкие. Таким образом те, для коих единственным обузданием служить может общее к ним почтение, удержатся в границах долга их боязнию стыда и желанием снискать доброе мнение о их бескорыстии». (Бентам, том III, стр. 114—116.)

Укрепление честности в нации также содействует ограждению безопасности:

«Усилить чувство чести и направить действия его на предметы полезные должно быть одним из главных попечений правительства.

«Действительность общего мнения находится в сложном содержании пространства и силы его: пространство сие зависит от количества одобренных голосов; сила — от степени одобрения или оуждения.

«Из числа многих средств, могущих служить к тому, чтоб действию общего мнения дать большее пространство, главнейшие суть: обнародование судебных дел, обнародование счетов, обнародование государственных совещаний, не подлежащих по каким-либо особенным причинам тайне. Просвещенная публика — хранительница законов чести, управительница нравственного возмездия — составляет высшее судилище, полагающее суд о всех делах, о всех лицах. Обнародованием дел судилище сие поставляется в возможность собирать доказательства и полагать суждение; и потом печатно произносить и приводить в действие свои суждения». (Бентам, том III, стр. 164—165.)

Важно также приготавливать нацию к правительственным мерам предварительными объяснениями их:

«Правительство не везде должно действовать властью: в распоряжении власти только руки; распространять владычество на умы должно оно не иначе, как мудростию. Повелевая, оно принуждает подданных повиноваться, но просвещая, оно внушает в них душевное к повиновению побуждение, никогда не ослабляющееся. Наилучшее средство к просвещению состоит в простом обнаружении действий; но иногда полезно также вспомоществовать народу составлять суждение о сих самых действиях.

«Когда видишь, что наилучшие сами по себе меры правительства не имеют успеха, по сопротивлению им народа невежественного, тогда чувствуешь в себе негодование противу сей грубой толпы, тогда отвращаешься труда искать блага общественного. Но когда более углубляешься в предмет сей, когда открываешь, что сие сопротивление удобно было предвидеть и что правительство не сделало ни одного шагу для приготовления умов, для рассеяния предрассудков [для снискания доверенности; тогда негодование] должно обратиться от народа невежественного к его правителям.

«Опыт доказал, противу всякого ожидания, что бумаги и сочинения, издаваемые в народ, суть вернейшие средства к направлению мнения общего, к успокоению лихорадочных его движений, к изглаждению лживых понятий, к уничтожению лукавого ропота, коим враги правительства испытывают вредные их намерения. В сих сочинениях наставление может нисходить от правительства к народу или восходить от народа к правительству: чем более простора в изъяснениях мыслей, тем удобнее судить можно о движениях общего мнения, тем надежнее правительство может действовать». (Бентам, том III, стр. 184—185.)

«Слушай все советы, хуже от того не будет, а лучше быть может, вот что говорит простой здравый смысл. Правда, во многих случаях суждение публики может быть выслушано не прежде, чем принята мера, но тогда уже, когда приведена она в действо. Между тем, сие суждение может всегда иметь свою пользу, в отношении ли к мерам законодательства, кои могут быть преобразованы; в отношении ли к мерам управления, кои могут повстречаться вторично. Наилучшее мнение, представленное министру частным образом, может быть оставлено без всякого действия; но хорошее мнение, представленное публике, если не полезно одному, то может быть полезно другому; если не полезно в настоящее время, может сделаться полезным впоследствии; если оно представлено в неприличном виде одним, может другим быть украшено и тогда преклонит к себе внимание. Наставление есть семя, которое для опыта должно быть посеваемо на землях различного рода, которое должно быть возвращаемо с терпением, поелику не скоро приносит оно плод.

«Мера сия предпочтительнее сведений, кои может почерпать государь при дозволенной свободе подачи просьб. Какова б ни была пронизательность его в избрании министров своих, выбор всегда ограничиться должен небольшим числом кандидатов, которых представляет случай рождения или счастья. Итак, государь всегда основательно полагать может, что есть другие люди, просвещеннейшие сих; и чем более распространяет возможность знать и слышать, тем более увеличивает власть и независимость свою.

«Но в образе подачи мнений может примешиваться негодование и дерзость: вместо того, чтоб ограничиться рассмотрением приемлемых мер, обращаются к лицам, их предприимлющим. И в самом деле, какое потребно искусство для соблюдения различия между сими двумя действиями суждения! Каким образом осуждать меру, не осуждая в некоторой степени свойств ума или душевных расположений предложившего оную? Вот камень преткновения: вот причина, по которой сей способ советования столь редко бывает допу-

скаем, несмотря на очевидную пользу его. Против него восстают все страхи самолюбия. Несмотря, однако ж, на то, Иосиф II, Фридерик II введением его ознаменовали свои царствования. Он существует в Швеции; он существует в Англии; он может существовать повсюду с некоторыми ограничениями, которые бы предупреждали важные злоупотребления оного.

«Если по введеному в правительстве обыкновению, или по каким-либо особенным обстоятельствам, государь не может дозволить суждения об актах правительства, то он должен по крайней мере дозволить суждение о законах. Он может предоставить суждению общему все, что составляет науку, начала права, судопроизводство, управление низшей степени.

«В прежнем французском правительстве всякая философическая книга, напечатанная в Париже, рождала уже тем самым против себя предубеждение. Наказ императрицы Екатерины II во Франции был запрещен. Слог и мысли сего творения казались столь смелыми, что признано было невозможным потерпеть его в монархии французской.

«Правда, во Франции нерадение и ветренность покрывали зло. Чужестранное издание служило паспортом гению. Строгость служила только к тому, что торговля книгами переходила к другим народам и что сатиры, к предупреждению коих была она предназначена, делались еще паче едкими». (Бентам, том III, стр. 220—224.)

Очень полезно также, по мнению Бентама, при обнаружении узаконений объяснять и побуждения, которыми внушены эти узаконения.

«В сем заключается необходимо нужное звено в цепи политики великодушной и благомыслящей; сим правительство должно самому себе. Небрежа извещать народ о побудительных причинах действий его в случаях важных, оно обнаруживает, что всем хочет обязано быть силе и в ничто вменяет мнение подданных.

«Не так думает приверженный к своему владычию. Он не хочет, чтоб народ был просвещаем, и презирает его потому, что он не просвещен. Вы неспособны судить, говорит он, поелику вы в невежестве и вас будут удерживать в нем, чтоб вы не были способны судить. Вот вечный круг умствований, коим он ограждается. Каково же следствие? Рождается и мало-помалу возрастает всеобщее неудовольствие, основанное иногда на ложных и увеличенных порицаниях, коим дается вера; ибо они не подвержены исследованию и рассмотрению. Министр жалуется на несправедливость публики, не помышляя о том, что он не дал ей средств быть справедливою и что ложные толкования поведения его суть неминуемое следствие той таинственности, кою покрывает он свои действия. Двойкий только образ действия правительства может иметь место: совершенная скрытность или совершенная откровенность. Должно, чтоб народ или ни малейшего не имел о делах сведения и познания, или чтоб он знал о них во всем пространстве; должно или поставить ему преграды иметь о них какое-либо понятие, или дать ему возможность делать суждения самые просвещенные; должно поступать с ним или как с ребенком, или как с человеком возмужалым; вот два плана действия, из коих должен быть избран один.

«Первому из них последовали жрецы в древнем Египте, брамины в Индостане, иезуиты в Парагвае; второй введен в Англию временем и обычаем; но основан на законе в одних только Соединенных областях. Большая часть европейских правительств не приемлют, не отвергают ни того, ни другого, не имея твердости духа принять исключительно который-либо один. Они не перестают быть во всегдашнем между собою противоречии, быв, с одной стороны, одушевляемы желанием иметь подданных промышленных и просвещенных, с другой — колеблемы страхом ободрить дух исследования». (Бентам, том III, стр. 224—226.)

Все эти меры Бентам считает особенно полезными потому, что они содействуют прочности и силе правительства; он полагает, что чем больше занято общество государственными делами, тем прочнее бывает правительство:

«Изъявление мнений сословиями, по мнению моему, не только не может производить мятежей, но, напротив, будет служить охранением от бедствий сего рода. Мятежи суть судорожные движения слабости, обретающей силу в минутном отчаянии. Они суть усилия людей, коим не дозволяется обнаруживать чувствований их и коих преднамерения не могли бы иметь успеха, если бы были известны. Намерения, противные общему чувствуванью народа, могут быть успешны по одной только нечаянности и насилую. Имеющие таковые намерения могут достигнуть оных токмо силою. Но люди, могущие полагать, что народ на их стороне, могущие льститься восторжествовать силою мнения общего, почто стали бы употреблять насилые? Почто подверглись бы они очевидной опасности без всякой пользы? Итак, я уверен, что люди, имеющие полную свободу составлять сословия, люди, составляющие оные под покровительством закона, никогда не посягнут на мятежи.

«Я думаю даже, что составление сообщества могло бы быть дозволено, могло бы быть одним из главнейших средств правительства во всякой монархии. В монархиях мятежи и возмущения наиболее опасны. Они производятся движениями печальными и неожиданными. Сообщества предупредили бы сии беспорядки. Если бы в Империи Римской было в обыкновении составлять сообщества, империя и жизни императоров не были бы непрестанно продаваемы с публичного торгу телохранителями преторианскими.

«Я знаю, что есть степень невежества, которое бы могло сделать сообщества опасными: но сие доказывает, что невежество есть великое зло; а не то, чтоб сообщества не были весьма полезны. Сверх сего, самая сия мера может служить противоядием, вредным ее действиям. В соразмерности, как сообщество, образовавшись в безопасности, делается обширнейшим, все его основания бывают обдумываемы, публика просвещается, а между тем правительство располагает всеми средствами рассеять заблуждения событиями.

«Я не вижу, почему бы введение сего права могло породить в правительстве беспокойства. Нет правительства, которое бы не признавало нужным советоваться с народом и приносиваться к его мнениям: правительства наиболее самовластные суть наиболее робкие. Какой султан управляет с таким спокойствием, с такою надежностью, как король английский? Янычары и чернь приводят в трепет сераль, между тем как сераль заставляет трепетать янычар и чернь. В Лондоне народ возвещает волю законною подачею голоса; в Константинополе мятежами и опустошениями». (Бентам, том III, стр. 233—236.)

Мы сообщили эти выписки преимущественно с целью доказать, что Бентам для достижения национального благосостояния считает достаточными такие меры, которые могут иметь место во всех странах, при всякой форме государственного устройства — в этой мудрой умеренности его мнений и надобно, как мы сказали, искать причины, по которой император Александр I пожелал познакомить своих подданных с его «Рассуждением о гражданском и уголовном законоположении»,